

# Анна Козырева

Прозаик, журналист. Родилась в г. Краснокамске на Среднем Урале. Окончила Литературный институт им. М. Горького и сценарный факультет ВГИК. Работала редактором, литературным консультантом, журналистом. Печаталась в журналах «Дружба», «Вожатый», «Молодая гвардия»; еженедельниках «Московский строитель», «Домострой», альманахе «Русское эхо». Автор книги для детей «Тайны крещения Руси» (2006), которая была отмечена Международным конкурсом детской и юношеской литературы им. Алексея Толстого и Литературной премией благоверного князя Александра Невского. Призёр Международного конкурса имени А.К. Толстого за повесть «Яблочный спас» (2009). Живёт в г. Видное Московской области.

## ЖЕРТВА МАТЕРИ

*Мне бы быть звездой  
Той, что над тобой,  
Видеть, что ты рядом и что живой...  
Молитва. Анатолий Доровских*

Утром Лешка Зырянов отбывал в армию.

Мать потерянно смотрела на сына обезумевшими, полными слёз и припухшими до красноты от бессонницы глазами, а он шептал ей:

– Мама... мамочка... Вы только не переживайте!.. Вот увидишь: всё будет хорошо! Всё будет топ-топ! Я же, мама, – мужик! защитник!

– Ой-й... сыночка... как же мне лихо!.. как лихо... И сердце болит, Лешенька... ой, как болит!... Я так боюсь, сынок... так боюсь... – Мать обреченно вскинулась покорно-отчаянными глазами на сына. Силилась что-то сказать-вымолвить, а сын, стыдясь ее откровенных слёз и тяготясь её навязчивостью, рванул к ребятам, колготной кучкой топтавшимся у крыльца военкомата.

Мать умерла внезапно.

И словно надомилась сама вечность, когда он узнал об этом...

Счастливым Лешка ехал домой. Ехал из госпиталя. И хотя ранение у него было не из легких, оклемался солдат на удивление всем быстро и так же быстро пошел на поправку.

В своих письмах сын ни разу и слабым намеком не обмолвился о том, что последние полгода прослужил на Кавказе.

Он исправно, раз-два в месяц, отправлял матери письма-отчеты, в которых старательно излагал суть повседневной армейской жизни: о нарядах и успехах в боевой учебе, о том, что ему присвоили звание «ефрейтор», и о том, что зимой приходится очень уж много долбить ломом льда на дорогах... Отдельной строкой сообщал о быте и обязательно – о кормежке. Коротко – о ребятах и командирах, а мать в своих ответных письмах каждому из них, с перечислением имен, отправляла низкий свой поклон...

Зримо представляя себе, как мать всё-таки пытается уловить меж строк нечто недосказанное и нежелательное, Лешка всякий раз старался упомянуть Псковскую землю, куда первоначально и был отправлен с Курцины. Он описывал матери непривычную его глазу лесистую природу и столь же непривычно низкое плоское небо. Однажды Лешка с искренним удивлением написал о каменных валунах, выраставших, как огромные грибы-дождевики, на полях и лугах.

Он и в последнем своем письме уже из Подольского госпиталя (вновь, конспирации ради, отправленном через Псковскую часть) не преминул воспользоваться изобретенным им отвлекающим внимание маневром: по памяти описал давнее посещение в Пскове Древнего кремля...

И лишь в конце, как бы случайно, сделал приписку о возможно скором отпуске: «Жди! Наверное, приеду!..»

Маяться на августовской жаре и ждать рейсового автобуса в Фатеже солдат-отпускник не стал. Остановил частника и уже через полчаса был почти у самого дома. Вышел из машины и, небрежно поправляя голубой берет, уверенно шагнул на знакомую улицу.

– Ой, никак Леша?! Леша-и-инька-а... мальчик!.. – Он не сделал и пяти шагов от шляха, когда его настойчиво окликнули. Оглянулся. У придорожного магазинчика шеренгой стояло несколько местных женщин. И все они странно смотрели на него. Странно и оторопело. – Ле-ша-а!.. ты ли это?!

– А кто ж еще?! Я, конечно! Вот – собственной персоной! – Солдат широко и весело улыбнулся. Подошел к ним и радостно обнял одну из них. – Теть Оль, чё-то ты совсем маленькой стала?

Заречинская тетя Оля, старшая мамина сестра, обхватила племянника руками, уткнулась седой головой в ему в грудь и взвыла с причитаниями в голос.

– Ну вот! Ты чё это, тетя Оль, выдумала? Не плачь! – И он в смущении оттолкнул её от себя. – Вы лучше приходите вечером все к нам. А я сейчас побегу – до мамы!

– Ле-ши-и-инька-а... сыночка-а... – Тетя Оля не унималась. Нечто ужасное, пугающее своей неотвратимостью прочитывалось и в глазах всех остальных женщин, немо и потерянно стоявших около них, а Лешка вдруг отметил про себя, что на тете Оле одето старое платье из давно забытого модой кримплена с ярко-алыми мелкими, букетиком, цветочками по темно-зеленому полю.

... – ты ж как раз под сорок дён и приехал...

Сизая, угрюмая туча, наползая из-за степи и подпирая синь, уже всюю пласталась на ветру обвислым краем в огрузлом, скукожившемся вдруг небе.

– Ле-еша-а... сы-ы-но-очка-а... а мы ж и табя схоронили...

Последних слов солдат не слышал. Он медленно-медленно шел по деревенской улице в сторону родного дома. Тетя Оля бросилась было за ним вслед, но кто-то из женщин предупредительно что-то прошептав, задержал ее. И она лишь крикнула ему:

– Ключи от хаты-то у Валентины!

На крыльце родного дома Лешку уже поджидала соседка. Поднялся на крыльцо. Устало опустился на лавку.

– Ключи со мной... сейчас-сейчас вот отомкну... отомкну сейчас... – Валентина суетливо спешила открыть висячий замок на входной двери, но руки предательски дрожали, и вставить ключ в скважину ей всё не удавалось.

Лешка был совершенно безучастен к её хлопотам: он в сердцах пихнул ногой дорожную сумку, брошенную им на пол, стянул с головы ухарский берет небесного цвета, уткнулся в него лицом и – неожиданно для себя самого по-детски безутешно и открыто заплакал...

Женщина, наконец, сумела справиться с замком, распахнула шумно настежь дверь и перемахнула за порог. Слышно стало, как в темных сенцах она обо что-то запнулась, чуть не упав, ойкнула непроизвольно и скрылась в хате.

Соседка тихо-тихо, замерев нахохлившейся, испугнутой птицей, сидела на табуретке в передней, когда Лешка, спустя время, осторожно переступил порог. Вошел, минуя переднюю и кухонку, шагнул в горницу, где от плотно зашторенных окон было тесно и сумеречно. Заметно уменьшали пространство родного жилища черные полотнища, свисавшие траурными шлейфами и скрывавшие от глаз высокое зеркало старенького трюмо, рамки с фотографиями за стеклом, висевшие в межоконных простенках, короб телевизора в углу на тумбочке.

На столе стояло увеличенное мамино фото, с которого она приветливо и прямо улыбалась сыну. С боку, прислоненной к маминому плечу, – последняя его армейская цветная фотокарточка: и он тоже всем прямо и приветливо улыбался.

Перед обоими фото стояло белое блюдечко с хрустальной рюмочкой на тоненькой ножке. В рюмочку была налита до середины водка, а поверх лежал высохший ломтик черного хлеба. Около рюмочки – тонкий огарыш желтой восковой свечи.

Упал на колени перед столом. Солдат не плакал; он просто молча и потерянно смотрел на маму, так ласково и радостно улыбающуюся ему...

Глухую обморочную тишину соседка, беззвучно прорыдавшая всё это время, рискнула нарушить осторожным предложением:

– Може, до меня пойдём... Поешь.. Голодный, поди, с дороги-то...

Лешка очнулся. Поднялся с колен. Присел на краешек дивана и, отстранено пробурчав:

– Не хочу... – уставился в пол: больше не знал, куда и зачем смотреть...

В сенцах с шумом хлопнула дальняя дверь, и следом широко распахнулась дверь в хате: на пороге появилась раскрасневшаяся с большой, груженной сумкой в руках тетя Оля. Заглянула в горницу:

– В темноте-то, чё, как филины, сидите? Хушь ба свет зазгли. – И щелкнула выключателем на кухне. По-хозяйски засуетилась. – Сичас я табя, сыночка, покормлю...

Валентина поспешила оправдаться:

– Отказыватся – предлагала... к сабе звала...

Тетя Оля не слышала или только делали вид, что не слышит: сновала по кухне, хлопотала и вскоре позвала к обильно накрытому столу:

– Идем-идем, Лешенька! Поисть надоть! С дальней дороги как-никак... Маму вот спомянем, да и за твое здоровье по чуть-чуть пригубим: радость-то кака – живой! Мы ж табя, сыночка, усем миром успели схоронить...

– Она усё жалилась, что сны плохие видит... – Помянув за столом усопшую, соседка начала издаека. – Идём с ей на ферму, бывалоча, утром ранешенько, а она усё токо сны и вспоминает. То одно чё-то увидит, то чё-то друго... Я ей говорила, чтоб значенью им не придавала. «Забудь, – говорю, – усё, чё видеала! Проснулась: голову почесала, и усё забыла».

– Это уж известно: сон споминать – беду накликають... – согласилась с ней тетя Оля.

– А тута как-то, – Валентина продолжила, – у ей сердце схватило: с лица спала, уся бледная стоит. Утрешню дойку то-нито довела. На вечер Люська-бригадирка ей замену нашла. После дойки я к ей спроведать забежала. Она как раз на диване лежала. Телевизер... будь он проклят! – бросила она в сердцах, – ...включенный говорит. Как раз стали известья показывать. А она с какого-то моменту, Лешенька, ни одних известьев, особенно каки с Чечни, старалась не пропустить. И усё сокрушалась, чё, мол, наших бедных солдатиков усё по телевизеру стыдят да охаивают. Чувала ли, чё? – вздохнула. – И вдрут на весь экран ты, Лешенька! Лицо онемевше, как у мяртвеца, каменно... Глаза запавшие закрыты плотно... Увесь у черной щетине... И – у кровищи... Тя на носилках у машину пихают, а рука-то болтатся, как плеть... болтатся... Я на её глянула: може, думаю, не видит... може, думаю, не признала... може, думаю, это я обшиблась... А она впиалась глазами в экран: сама – полотно белое... И как закричит: «Лешенька! Сыночек мой!» С диванчика-то подхватилась... Руки к телевизеру тянет... Встала и шага, ить, сделать не успела, тут и рухнула на пол...

Я – тык-мык... ишшо и не соображу до конца, чё к чему... Тут, слава Богу, Елена Петровна бегит: тоже табя увидала... Следом Митрич приковылял... Сгрудились мы над ей... Помочь ничем не можем... А чё и сделаешь, коли сердце в миг разорвалось? Уся деревня так и решила, что видали табя убитым... – И, не сумев сдержать обильных слёз, женщина захлебнулась, умолкла.

– Токо вот отпеть табя заочно уместе с матерью батюшка отказался... – Тетя Оля вытерла и свои обильные слезы. – А я, ить, грешная ишшо так и настаивала!.. А когда твоё письмо пришло, – прочитали яво, повертели-повертели: ни даты, ни каких намеков, штемпель псковской, – так и решили, что писано давно, что гдей-то на почте застряло... Бывает, вона, и из Курску письмо-то месяцы идет...

Предощущение лихой беды надвигалось лавинообразно, и последние полгода неминуемо стало постоянным её чувством. В своей неизбежной неотвратимости беда надвигалась злой волной-цунами, грозила сплющить черной массой, подпирала безысходностью и страхом...

Раз за разом мать перечитывала письма сына, невольно сличая знакомые тексты, – и обнаруженные неожиданно их однообразие и похожесть фраз, а то и явное противоречие в повторных описаниях событий, да и замеченная путаница в именах, ещё более и более взволновали и насторожили.

Она вновь и вновь механически пересматривала те, давно вызубренные до запятой, исписанные неровным почерком листочки; и однажды всё-таки сумела высмотреть, незамеченный ею раньше, слабый отпечаток пальца на одном из последних писем. Мать напряженно, до острой рези в глазах, всматривалась в тот обнаруженный отпечаток, пытаясь в еле уловимом рисунке угадать нечто до боли знакомое – сыновье... Она, по-собачьи чутко втягивая носом воздух, обнюхала то пятнышко, и ей даже почудилось, что ясно сумела уловить горький запах гари и дыма... отличить и тревожный запах паленого... вычленить парной запах сырой крови...

Всё чаще и чаще, при первой же возможности, мать стала ездить в церковь, куда раньше и любопытства ради редко заходила. Она терпеливо и стойко выстаивала долгие

службы, мало что понимая до конца и разумея по смыслу; и только одна-единственная, свербящая и пульсирующая фраза, произносилась ею и вслух и мысленно:

– Господи! Господи! Не остави моего сыночка!.. моего Лешеньку!... Верни его домой... верни целого и невредимого...

Мать часто просыпалась среди ночи и подолгу лежала с открытыми глазами, впериваясь в чернильную темноту и вслушиваясь усиленно в запредельные звуки, но ни увидеть, ни услышать того, что могло бы хоть как-то утешить страдающее сердце и пригасить страхи-тревоги, ей не удавалось; и тогда она, не выдержав внутреннего напряжения, падала ниц перед иконами, привычно висевшими издавна в переднем углу, порывисто крестилась и, не сдерживая обильных, перехватывающих дыхание слёз, молила:

– Господи! Чует мое сердце – тучей черной висит над моим мальчиком беда!.. Господи! Господи! Отведи от него все горькие беды-напасти!.. Меня накажи... меня! А его, Господи! Спаси и помилуй! Сохрани моего сыночка... моего Лешеньку... Господи! Господи! Не отступи!..

Обессилевшая и опустошенная от слез и причитаний, она падала пластом, и долго еще лежала на полу немо и отрешенно...

С каждым новым днём мать всё напряжённее и напряжённее, подавляя в себе близкий мистический страх, всматривалась в лица солдат, замелькавших внезапно во множестве на экране, да и само тревожное, забытое казалось на века слово «война» обрело вдруг свою плоть и реальность: какая война? где? почему? Многого мать не могла по простоте своей взять в толк, ничего или почти ничего не понимая из происходящего, но чуткое ее сердце разрывалось от жалости и несправедливости к растерянным и недоумевающим мальчикам.

И во всем этом явно таилась какая-то вселенская ложь, однако до разгадывания ли было политических шарад и загадок, когда с замиранием сердца смотрелись новостные программы, а однажды она точно узнала в одном из усталых, отмеченных войной лиц и до боли знакомое лицо: мелькнул стремительно ее мальчик в чередѣ чужих лиц и, словно испугавшись, что обнаружился, поспешно отвернулся. Всё в ней похолодело до озноба и, вздрогнув, напрыглось... Камера вновь старательно выхватила лицо приреченного солдатики и показала крупным планом – а мать

облегченно выдохнула: обрадовалась! Но тот чужой сын с худенькой куриной шейкой запомнился и еще долго стоял перед глазами...

Тревога, столь вероломно угнездившаяся в тесной груди, не оставляла даже и тогда, когда от сына приходило очередное письмо – спокойное, ровное. Мать всё равно не обретала и временного покоя.

И всё чаще и чаще снились ей сны – тревожные, изнурительные и путаные.

А потом был тот последний сон, разметавший все прежние...

Только-только прилегла, не успела и глаз сомкнуть, обморочно провалилась, как в черный провал, и тут же увидела кровавую реку, весенним половодьем заполонившую собой всё пространство зловещего сна; и покачивалось на слабой тягучей волне черной лодочкой обездвиженное тело человека, облик которого ей еще не был явлен.

Сквозь толщу сна ясно прорывалась учащенная дробь перепуганного насмерть сердца, и она попыталась вырваться вон из тяжелых липких пут, но сделать этого ей не удавалось.

И вот новая попытка: взмах рукой... другой взмах... – и вот-вот, кажется, выберется на поверхность, скинет с себя глубокий морок, однако вязкий обморочный сон, как в черную воронку глухого омута, всё затягивал и затягивал.

Веки не открыть – придавило чугунным грузом, а в области пупка сконцентрировалась тупая пульсирующая боль, словно из неё тянули-вытягивали жилы, впрочем, обнаружилось, что жилы тянули наяву. Она отчетливо видела, как от черной лодочки, оказавшейся телом её мальчика, белым жгутом тянулась к ней пуповина – его пуповина, натянутая как тетива. Мать очень остро прочувствовала эту реальную связь между ней и сыном, и явно испытывала теперь напряжение натянутого вибрирующего шнура, а белёсая тетива вдруг не выдержала натяжения – лопнула с пронзительным, перевернувшим душу, скрежетом-свистом: тело-лодочка быстро-быстро устремилось по кровавой стремнине вниз...

И мать проснулась... проснулась в холодном поту.

Её трясло, как в ознобе, и перехватывало дыхание.

Неволью тронула мелко дрожавшей рукой живот: в области пупка горело открытой раной...



И весь долгий день острая боль не оставляла её, а к вечеру уже и весь живот казался сплошной пылающей раной; и такой же болезненно-мучительной была распиравшая грудную клетку тоскливая тревога.

И когда мать услышала, пробившийся до чуткого слуха, зовущий вскрик:

– Мама! – она моментально устремилась на тот давно ожидаемый зов.

Душе в груди, как в узкой клетки, стало невыносимо тесно и душно, и она стремительно рванулась на свободу, а отяжелевшее, оставленное тело-оболочка само по себе рухнуло на пол.

Душа легко вспорхнула белой голубицей, и, вылетев искристой молнией вон через настезь отворенное окно, навсегда покинула старое жилище...

...а он плыл в белоснежных одеждах, вольно распластавшись полегчавшим телом на воде, покачиваясь на слабой волне, и волна по тихой-тихой стремнине медленно несла его в неведомое. Он видел: над ним – синь бесконечная, беспредельная... синь и синь...

Внезапно плавное течение резко прекратилось – река бурным потоком обрушилась вниз, завертела, втягивая в спираль быстрой воронки безмятежного пловца, – и понесла-понесла, как цепу, в черную глубину, в пугающую бездну...

И самое последнее, что он успел отфиксировать, – это холодный стеклянный объектив телекамеры, змеей ввинчиваясь немигающим зеленым зрачком, тянулся к нему, всё всасывающим, равнодушным хоботком.

– Мама! – он вздрогнул от своего внезапного крика, а она, отреагировав моментально, уже отозвалась на его крепкий крутой зов:

– Лешенька!.. сынок!.. слышу-слышу!.. Я – здесь... рядом...

И мать склонилась над ним, отогнала внезапный страх, умирила подпирающую нутро боль. Она смотрела на него ласково-ласково идохнула легко и свежо, словно ополоснула живительной влагой пылающее лицо...

Открыл глаза: над ним низко склонилась голова и голосом чутким, вкрадчивым осторожно спросила:

– Леша, ты слышишь меня? Если слышишь, – моргни разок глазами.

И он выполнил, как его просили: захлопнул веки – открыл веки, – а сам очень-очень внимательно следил за белой голубкой, вспорхнувшей на спинку его кровати.

Птица сидела сторожко, не реагируя на суетящихся над ним людей...

Назавтра были сороковины.

С утра, как распорядилась тетя Оля, они вдвоем вначале отправились в Фатеж.

– В церкву... на панихидке постоим, – объяснила крестнику.

Будними днями служб в храме практически не бывало, и Лешка издалека отметил, что на двустворчатой церковной двери, выходявшей прямо на улицу, железным калачом болтался тяжелый висячий замок. Он хотел было высказать свое недоумение вслух, но не стал – тетка вышагивала рядом споро и уверенно.

Через калитку в кирпичном заборе они вошли во двор, где, как оказалось, их ждали. И они, вчетвером: священник, дьяк, тетя Оля и Лешка, – через боковую дверь прошли в темный храм, где было пусто и глухо.

Спустя минуту-другую следом вошла женщина. Она быстро зажгла на каноне свечи. Протянула и им по высокой тонкой свече. С зажженными фитильками в руках замерли в ожидании.

Вскоре в облачении к канону подошел священник. И если дьячка Лешка узнал сразу же – крупный, зычногласый, с постоянно всклокоченной рыжей бородой, тот, казалось, если и не являл собой саму вечность, во всяком случае, давным-давно воспринимался неотъемлемой частью местного храма, – то молодой священник ему совершенно был незнаком, лишь самым странным образом напомнил собой полкового батюшку, которого Лешка наблюдал на Кавказе среди казаков.

Священник что-то негромко спросил у тети Оли, и та, захлебнувшись внезапно обильными слезами, зачистила:

– Это он и есть – наш Лешенька-а... наш солдати-ик... это ж я яво, грешная, отпеть всё уговаривала... Увечор вот приехал...

– А сейчас-то чё плачешь? Радоваться надо, что живой вернулся, – он попытался успокоить плачущую навзрыд женщину.

– Так-то оно так... – согласилась было тетя Оля, – да шибко ж изранетый весь... Молоденько-ой... а на ём же и места живого не-ет... кровиночка жалкая... А тута ишшо и мамки не-ет... – и она вновь задохнулась слезами.

– Ну не плачь... не плачь... – Видно было, что батюшка и сам смущен, но держался и растерянности своей старался не показать. – Слава Богу, что – живой! Раз выжил, – значит, жить будет долго! – и, пристально посмотрев в упор на Зырянова, спросил у него:

– Не так ли, солдат?

И Лешка, окончательно ошалевший от происходящего, поспешил согласно кивнуть отуманенной головой.

С дымящимся кадилом в руке подошел дяк, и панихида началась.

Вернувшись из Фатежа, они напрямиком направились на сельское кладбище.

В недоумении и растерянности стоял Зырянов возле могилы матери с простым деревянным крестом в изножье. Он попытался вчитаться в начертанные на кресте слова и цифры дат, однако, совершенно не воспринимая смысла написанного, ясно испытывал только одно – в нем всё сопротивлялось, отказывалось принимать реальность происходящего, а свежий холмик, оцетинившийся мягким ершиком густой зелени, обнадеживающе увиделся вдруг непрополотой огородной грядкой, бесхозно заросшей сорной травой: желтую кудрявую головку вытянула сурепка... сочная осот-трава высунулась нагло из черной земли... кустиком топорщилась мелколистная жгучая крапивка... в шершавых мохнушках ширица... бледно-серая лебеда опять же...

Склонился, как в детстве, над заросшей грядкой – дернул сурепку... осот на обрыве сверкнул молочным ободком... ожгла крапивка пальцы...

– Нехай-нехай!.. оставь! – Тетя Оля одернула, вернула в действительность. – Это я по осени усё повытягиваю. Люся из Курску обещала семен привезть... Травка така-то специальна есть. Её посеем, и будет у нас на могилочке порядок. Усё будет ровненько, как атласным покрывальцем накрытое. И цветочков посадим. Усё сделаю... усё... Я сестренку без призору не оставляю... – А голос влажный, хлюпающий.

Она поменяла выгоревший венок из бумажных воощенных цветов на новый. Воткнула свечу в землю у креста. Зажгла, и всё что-то говорила и говорила ему, а он давно не слышал её.

Точно также вне его сознания и осмысления прошел и долгий вечер, когда в доме собрались люди. Они сидели за накрытым обильно столом. И он сидел с ними. Что-то даже и отвечал, когда спрашивали. И хотя все они – знакомые и близкие – поначалу старались быть с ним осторожными и внимательными, вспоминая его мать и всё пытаюсь рассказать о ней нечто свое особенное, под конец, однако, начинали перебивать друг дружку, повторяться, спорить, шумно уточнять мелкие детали. А он слушал, ничего не слыша... Смотрел, ничего не видя...

Время ли остановило свой стремительный бег, окружающий ли его мир остекленел, он, как в кокон, замкнулся в себе, – и несколько дней кряду пролежал пластом в пустой хате.

Тихой, осторожной тенью возникала около него крестная: что-то робко пыталась сказать ему, он, однако, ни на слова, ни на слёзы не отзывался: пока однажды не спросил про сегодняшнее число, – и тетя Оля, обрадовавшись тому, что он, наконец, подал голос, назвав дату, тут же поспешила предложить:

– Може, Лешенька, чево поешь?

А он:

– Мне ж в военкомат надо! – подхватился, засобирался.

– Так сразу и поедешь ли, чё? – Тетя Оля вновь затянула просительно:

– Може, хушь поешь чуток?

– Может, поем... – согласился.

В военкомат он приехал под самое закрытие. Дежурный, приняв отпускные документы, сходу набросился:

– Ты где это до сих пор припадал?! Тебе, олух царя небесного, когда надо было явиться?!

Возможно, дежурный и ещё бы продолжал радостно распекать и шуметь, но в комнату вошел старый прапорщик. Он взял Лешкины документы, бегло просмотрел их. Вновь положил на стол. Затем очень внимательно в упор вгляделся в Зырянова и, не говоря ни слова, быстро вышел.

Через минуту на столе дежурного затрещал древний телефон. Тот схватил черную тяжелую трубку и, автоматически ответив по форме, продолжил скороговоркой:

– Есть отметить задним числом! Слушаюсь, товарищ полковник! – И, подняв на Лешку выразительные глаза, вполне миролюбиво произнес: – Иди к военкому, – и подсказал: – Вон в ту дверь.

Лешка потянул на себя обшарпанную массивную дверь. Спросил:

– Разрешите войти?

– Входи-входи, солдат! – военком стоял у открытого настежь зарешеченного окна.

Зырянов вошел и замер у порога.

Военком медленно докурил сигарету и, выстрелив окуроч на улицу, вдруг спросил:

– Куда ранен-то?

– В живот... – От неожиданности вопроса Лешка ответил почти шепотом.

– Не болит?

– Да нет... – И снова осторожным шепотком: – Не болит...

– Иди... Через месяц приедешь... А там, думаю, можно будет тебя и на комиссование отправить... Поживи пока у мамки... порадуй...

У Лешки невольно дернулась щека, а прапорщик, который всё время стоял рядом, поспешил что-то прошептать военкому. Зырянов догадался что...

Военком закурил новую сигарету: пальцы его мелко дрожали. И долго-долго смотрел в окно.

– Смотри, если болеть будет, – в госпиталь отправим... Полежишь – отдохнешь... – оглянулся на Лешку, спросил в упор: – Хочешь?

– Да нет... не болит же... – ответил всё тем же шепотком.

Через затяжную паузу военком, глубоко вздохнув, продолжил распросы:

– Из родни в деревне есть кто?

– Есть... тетка... теть Оля...

– Жить-то пока есть на что?

– Пока есть...

– Свободен... иди... – Лешка выходил за порог, когда полковник бросил вдогон: – Можешь и попозже приехать, чем через месяц... Как оклемаешься окончательно, так приезжай...

В военкомат Зырянов приехал через три дня. Приехал рано утром.

– Ты чего? – увидев его еще во дворе, участливо спросил военком. – Случилось что?

– Да нет... ничего не случилось... Поеду я...

– Куда поедешь?

– В часть поеду...

– Туда что ли?! – И полковник многозначительным кивком головы указал в южную сторону.

– Пока в Псков... а потом, может, и туда... ребята там...

По возвращении из военкомата Лешка сразу зашел на Заречье. Его приходу тетя Оля несказанно обрадовалась, но еще большей была её радость, когда он с неподдельным аппетитом умял всё, что она подкладывала и подкладывала ему в тарелку.

От тетки Лешка пошел на кладбище. Пошел один. Без тумана в голове. словно кто вел его за руку, – он сразу же подошел к могилке матери.

На погосте было тихо, безветренно, умиротворенно, и у него на душе то же было ровно и покойно. Присел на корточках у могилки, формой своей, гробиком, уже не напоминавшей огородной грядки. Мысленно ли о чем говорил с матерью, вслух ли что произнес невольно, он так и не отфиксировал, но ощущение того, что ясно слышал ласковый мамин голос, его не покидало и много позже.

Тогда он совершенно не испугался и долго сидел смиренно и тихо, приспособив под сиденье какой-то чурбачок, у скорбного холмика, оглаживая рукой теплую, прогретую за день солнцем поверхность.

И лишь когда потянуло вечерней осенней прохладой и стремительно густо посерело вокруг, оставил кладбище.